

ЭМАЛИРОВАННОЕ
СУДНО



Дмитрий Колобков

Дмитрий Колобков

Эмалированное судно

<https://litres.ru/74008773>

SelfPub; 2026

Аннотация

В мёртвом посёлке за полярным кругом осталось два человека: старуха-мать и её шестидесятилетний сын-инвалид. Она не может без него. Он не может без неё. И они ненавидят друг друга каждой минутой своей бесконечной полярной ночи. Но однажды мать умрёт, и сыну придётся впервые в жизни остаться одному. Это книга не о выживании. Это книга о том, что бывает, когда любовь душит надёжнее удавки, а свобода оказывается страшнее неволи.

Содержание

Глава 1. Верхний Нью	4
Глава 2. День рождения	22
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Эмалированное судно

Глава 1. Верхний Нюд

Ветер приходил с севера, с плато Путорана, и нёс с собой такую стужу, что даже снег казался мёртвым. Он не скрипел под ногами — здесь уже давно некому было ходить, — а лежал, спрессованный в камень, и только переметало его по-зёмкой по пустым улицам, между панельных коробок с выбитыми глазами окон. Верхний Нюд стоял во тьме, как стоял уже третью зиму без людей, и только одно окно горело на втором этаже крайнего дома — жёлтым, больным, неровным светом керосиновой лампы.

Дом этот ничем не отличался от других: та же серая панель, тот же подъезд с сорванной дверью, тот же запах запустения, смешанный с вечной мерзлотой, проступающей сквозь трещины в фундаменте. Но в одной из квартир теплилась жизнь. Теплилась — слишком громкое слово. Скорее, дотягивала последние капли отпущенного ей срока, как догорает свеча в банке, когда фитиль уже почти захлебнулся воском.

В комнате, служившей и спальней, и столовой, и гостиной — потому что остальные комнаты давно промёрзли и были заколочены, — стоял чад от печки-буржуйки. Труба её уходила в заложенное кирпичом окно. Уголь был скверный,

норильский, с высоким содержанием серы, и от него сильно першило в горле.

Григорий Уколов проснулся, как просыпался всегда — от собственного кашля.

Он лежал на панцирной кровати, укрытый тремя одеялами, в шапке-ушанке и двух свитерах. Пальцы ног, которые он не чувствовал уже четвёртый десяток лет, сегодня не чувствовались особенно — и это было особенно хорошо. Когда они начинали болеть фантомной болью, было намного хуже. Коляска стояла рядом, в полуметре от кровати, развёрнутая к нему сиденьем. Старая «Любава», ещё советская, с потёртыми подлокотниками и выцветшей от времени обивкой. Он сам перебирался в неё по утрам — руки ещё держали, плечи ещё слушались. В этом, собственно, и заключалась его утренняя гимнастика и свобода.

— Мать! — крикнул он, не поворачивая головы.

Тишина. Только ветер в вентиляции подвывает.

— Мать! — кричал он ещё громче, с неким металлом в голосе.

За стеной что-то зашуршало, скрипнула дверь, и в комнату вошла Валентина Уколова.

Ей было восемьдесят, но выглядела она на все девяносто пять. Маленькая, согнутая почти под прямым углом — болезнь позвоночника, которую никто и никогда не лечил, — она передвигалась мелкими шажками, держась за обшарпанные стены. Лицо её, когда-то, наверное, красивое, теперь на-

поминало запечённое яблоко: сплошные морщины, расходящиеся от губ лучами, и глаза, выцветшие до водянистой голубизны. Одета она была в застиранное ситцевое платье, поверх которого был намотан пуховый платок, и в валенки с тяжёлыми галошами. В доме было плюс пять в лучшем случае, и теплее, чем это платье, у неё, кажется, ничего не осталось — всё, что было, она давно перешлила и отдала сыну на одеялки.

— Чего ты, Гриша? — голос у неё был тихий, надтреснутый, но с той особой интонацией многолетнего терпения, которая бесила его больше любого крика.

— Чего, чего судно сюда давай.

Она кивнула, развернулась — медленно, мучительно медленно — и пошла в угол комнаты, где за старой ширмой стояло оно. Эмалированное судно. Белое, с синим ободком, с отбитым в одном месте краем, где из-под эмали проступал тёмный металл. Валентина взяла его обеими руками, покачнулась, но удержала равновесие, и понесла к кровати.

Григорий смотрел на неё и ждал. Он мог бы сам перебраться в коляску и пользоваться судном без её помощи — руки у него работали. Но он никогда этого не делал. Это был его ритуал. Её служение. Её наказание.

— Ставь сюда.

Она послушно поставила судно на край кровати. Он не шевелился.

— Ну, помогай давай, — сказал он с раздражением. —

Стоишь как истуканка.

Валентина наклонилась — это далось ей с видимым трудом, она задержала дыхание, на лбу выступила испарина, — и начала приподнимать его ноги. Он был тяжёлым. Не таким, как в молодости, но всё равно — взрослый мужчина, шестьдесят пять килограмм живого веса, мёртвого от пояса вниз. Она пыхла, и это пыхтение почему-то доставляло ему мрачное удовлетворение.

— Вот так, — сказал он, когда она справилась. — Теперь иди. Я позову, как понадобится.

— Может, чаю пока поставлю? — спросила она. — Вода горячая есть, я уголь подбросила.

— Сказал — иди. Я сам тебя позову.

Она вышла, шаркая валенками по линолеуму. Григорий остался один.

Он смотрел на эмалированное судно, стоящее на кровати, и думал о том, что этот предмет сопровождает его всю жизнь. Сначала — маленький детский горшок, тоже эмалированный, тоже с синим ободком. Потом — этот, взрослый, купленный матерью ещё в норильском универмаге, когда посёлок был жив. Тогда это называлось «утка», и продавщица, помнится, спросила: «Вам для лежачего?» — а мать ответила: «Нет, он у меня сидит, он у меня молодец, он у меня ещё обязательно пойдёт». И не пошёл. И вот уже сорок лет это судно — продолжение его тела, его трон и его самый большой позор.

Он справил нужду и снова крикнул:

— Мать!

Она пришла сразу — видимо, стояла за дверью. Забрала судно. Он видел, как дрожат её руки, как тяжело ей нести полное судно, но ничего не сказал. Она ушла в туалет, где было оборудовано что-то вроде слива — ведро, вкопанное в пол, и канистра с водой для смыва. Канализация не работала с тех пор, как посёлок отключили от дизельной электростанции. Воды не было тоже — Валентина таскала её с колонки, которая чудом не замёрзла, набирая в вёдра и согревая на печке. Два ведра в день. Двадцать литров. На всё — на чай, на мытьё, на судно.

Когда она вернулась, он уже перебрался в коляску. Сидел, закутавшись в одеялки, и смотрел в окно. Вернее, в то, что было вместо окна — стекло снаружи забито фанерой, но сверху оставалась щель, в которую можно было видеть кусок неба. Небо было слишком чёрным, чтобы радоваться солнцу.

— Который час? — спросил он.

— Не знаю, Гришенька. Часы встали ещё в прошлый вторник. Заводить некому.

— А ты на что?

— Я забываю. У меня пальцы уже не те. И голова уже не та.

— Голова у тебя всегда не та была, — сказал он. — Ладно. Давай, неси есть.

Завтрак состоял из перловой каши на воде и куска хлеба.

Хлеб был чёрствый, но без плесени — Валентина хранила его на морозе, за окном, и перед едой подогривала на печке. Сахара не было уже полгода. Чаю, впрочем, тоже — они пили кипяток, заваренный сушёной морошкой, которую мать собирала ещё летом, когда могла ходить дальше порога.

Он ел молча, быстро, глядя в миску. Она сидела напротив на табурете и не ела — ждала, пока он доест, чтобы забрать посуду и доесть остатки. Это тоже был своего рода ритуал.

— Хлеб совсем сухой, — сказал он с набитым ртом. — Воды мало добавляешь.

— Я добавляю, сколько могу. Рукам тяжело ведро поднимать.

— Ой, тяжело ей. Всю жизнь тебе тяжело. Мне вон тоже не легко, но я же не ною.

Она промолчала. Это молчание повисло в воздухе, как взвесь угольной пыли. Он знал, что она не ответит — она никогда не отвечала на прямые обвинения. Это была её тактика: молчать, терпеть, а потом, когда он выдохнется, сказать что-нибудь ласковое, от чего становилось ещё невыносимее.

— Ладно, — он отодвинул миску. — Забирай. И воды мне подай.

Она встала, покачнулась, схватилась за край стола.

— Что, опять голова? — спросил он без тени сочувствия.

— Давление, наверное. Погода резко меняется.

— Какая тут погода, тут ночь полярная, одна сплошная погода. Ты бы поменьше выдумывала себе всякие болячки.

Валентина взяла миску и ушла на кухню. Григорий откинулся на спинку коляски и закрыл глаза.

В тишине, под завывание ветра, он вдруг услышал музыку. Так бывало иногда — в голове начинала звучать мелодия, которую он не слышал сорок лет, но помнил до последней ноты. Вторая часть до-диез минорной сонаты. Он даже не помнил, как она называется правильно, но пальцы правой руки сами начинали двигаться по воображаемым клавишам. Левой он не мог — после одного случая левая кисть плохо слушалась, но правая помнила всё. Абсолютно всё

Тот день он помнил тоже.

Он был особенным днём — днём, когда всё могло пойти по-другому. Днём, который мать уничтожила.

Ему было семнадцать. Посёлок ещё жил, ещё дышал, ещё строился. В Верхнем Ньюде была школа, был клуб, была библиотека и даже маленькая музыкальная студия — одна на весь посёлок, и вёл её Ефим Борисович Демидов, бывший пианист, сосланный в Норильск ещё в пятидесятые, а потом осевший здесь, в Верхнем Ньюде, когда срок вышел, а ехать было некуда. Он был единственным музыкантом на всю округу, и когда в поселковую школу пришёл мальчик с абсолютным слухом — а это был Гришка Уколов, сын Валентины, — Ефим Борисович взялся учить его бесплатно.

— У тебя дар, Григорий, — говорил он, поправляя очки в толстой роговой оправе. — Дар — это не талант, талант у многих бывает, а дар — он или есть, или нет. Ты слышишь

музыку. Ты её чувствуешь. Из тебя может выйти толк.

И Григорий занимался. Каждый день после школы он шёл в клуб, где стояло старое расстроенное пианино «Красный Октябрь», и играл по четыре-пять часов. Пальцы болели, спина ныла, но он играл. Он разучивал этюды Черни, инвенции Баха, а потом, когда Ефим Борисович понял, что мальчику тесно в рамках учебной программы, — они перешли к настоящей музыке. Бетховен, Шопен, Рахманинов. Григорий не всё понимал, но он впитывал, как губка.

Мать поначалу не возражала. Даже гордилась: сын — музыкант, не хухры-мухры. Но потом что-то изменилось. Григорий стал позже возвращаться домой. У него появились друзья — такие же мальчишки, которые приходили в клуб послушать, как он играет. Появилась даже девочка — Карина из параллельного класса, которая однажды подарила ему ноты, переписанные от руки. Он пришёл домой с этими нотами, и мать увидела их.

— Это кто тебе дал? — спросила она, и голос у неё был такой, каким она никогда с ним не говорила раньше.

— Карина. Из девятого «Б».

— И что она хочет?

— Ничего. Просто ноты дала. У неё брат в Норильске живёт, вот он и привёз.

Мать взяла ноты, пролистала. На первой странице Карина написала: «Грише, чтобы играл и помнил». Мать прочитала это вслух и усмехнулась.

— Помнил, значит. И что ты должен помнить?

— Ничего. Просто так пишут. Друзья же.

— Ну-ну. Друзья.

Ноты она не отобрала, но с того дня стала внимательнее.

Встречала его у клуба — стояла в стороне, у фонарного столба, и ждала, пока он выйдет. Если он выходил с Кариной, мать подходила и говорила: «Григорий, домой, поздно уже». И он шёл, потому что спорить было бесполезно. Если он пытался возражать, мать заболела — ложилась в кровать и лежала пластом, пока он не обещал больше так не делать. Это был её главный инструмент: болезнь. Врачи не находили ничего, но она болела — и он знал, что если он не послушается, она умрёт. По крайней мере, она говорила именно так.

А потом случился день рождения.

Семнадцать лет. По местным меркам — почти взрослый. Ефим Борисович сказал: «Надо отметить. Приходи ко мне, я живу один, никто не помешает. Посидим, поговорим, я тебе пластинку поставлю — Гилельса, седьмую сонату Прокофьева. Ты не слышал, а это надо услышать хотя бы разок».

И Григорий пошёл. Он сказал матери, что у него занятие. Она отпустила — отпустила, потому что ещё доверяла Ефиму Борисовичу. Учитель, пожилой человек, что может быть опасного?

Опасного было то, что Ефим Борисович достал бутылку вина.

— Сегодня можно, — сказал он. — Один раз, по случаю.

Ты уже взрослый. И потом, музыканты должны понимать вкус жизни, иначе откуда взяться шестому чувству?

Они выпили. Совсем немного — по бокалу. Григорию вино показалось кислым и невкусным, но он выпил, потому что Ефим Борисович смотрел на него как на равного, а это было важно. Они слушали пластинку — старую, заигранную, но всё равно прекрасную. Потом Ефим Борисович сел за пианино и заиграл что-то своё, чего Григорий никогда не слышал — какие-то странные, ломаные гармонии, в которых чувствовалась тоска и свобода одновременно.

— Это я в лагере сочинил, — сказал он. — Там, знаешь, особая музыка рождается. Когда ничего нет — только небо и колючая проволока, — музыка звучит особенно. Ты этого не понимаешь сейчас, но я хочу, чтобы ты запомнил: музыка — это свобода. Даже когда ты сидишь в четырёх стенах, ты можешь быть свободным с помощью музыки.

Григорий запомнил. Но запомнил он и другое.

Когда он вышел от Ефима Борисовича — было уже поздно, часов десять вечера, но полярный день стоял, и солнце висело низко над сопками, — мать ждала его у подъезда. Она стояла, скрестив руки на груди, и лицо у неё было такое, какое он видел только однажды — когда они с отцом ругались перед его уходом. Отец тогда хлопнул дверью и больше не вернулся. Григорию было пять.

— Ты пил, — сказала мать. Это был не вопрос.

— Ефим Борисыч налил. Немного. У меня день рождения

вообще-то.

— Я знаю, какой у тебя день рождения. И я знаю, что этот человек — алкоголик и развратник.

— Мама, он не алкоголик. Он просто...

— Я видела. Я зашла туда, и я видела. Ты сидел с ним, пил и смеялся. Ты смеялся надо мной?

— Мам, нет, с чего ты...

— Домой. Быстро.

Он пошёл за ней, как собака на поводке. А на следующий день она сказала:

— К Ефиму Борисовичу ты больше не пойдёшь. Я договорилась. Твоё обучение закончено.

— Почему?!

— Потому что я так сказала. Ты ещё ребёнок, и я не позволю тебе губить себя. Этот человек спаивает детей. Я напишу на него жалобу в милицию.

— Мама, он ничего плохого не сделал! Это просто день рождения! Ты что, с ума сошла?!

Впервые в жизни он кричал на неё. Но она уже легла в кровать — та самая внезапная болезнь, — и ответила шёпотом, прижав руку к сердцу:

— Ты хочешь, чтобы я умерла? Ты этого хочешь, Гриша? Если ты пойдёшь к нему, я не выдержу. Я чувствую, я знаю. Иди, иди, только хоронить меня потом будешь.

Он не пошёл.

Через неделю он перестал вставать с кровати. Сначала ду-

мали — простуда. Потом — осложнение на ноги. Врач из Норильска, единственный за всю зиму, приехал, посмотрел, развёл руками. «Психосоматика, — сказал он тихо, так, чтобы мать не слышала. — У мальчика что-то случилось. Поговорите с ним».

Но мать поговорила по-своему. Она окружила его заботой, которая не оставляла шанса на выздоровление. Она носила его на себе — в прямом смысле, — и он, чувствуя эту заботу, всё глубже уходил в болезнь. Ноги отказывали не сразу. Сначала он просто не хотел ходить. Потом не мог. А потом уже и врачи сказали: атрофия, инвалидность, коляска.

— Ничего, Гришенька, — говорила мать, поправляя ему подушку. — Мы с тобой вдвоём. Мы справимся. Никто нам не нужен. Мы друг у друга есть.

И он верил. Сначала верил. А потом, год за годом, вера превратилась в ненависть, а ненависть — в привычку, такую же прочную и несокрушимую, как эмаль на старом судне.

Григорий открыл глаза. Музыка в голове стихла. Он сидел в коляске у окна, и за фанерой выл ветер, и где-то в соседней комнате мать мыла посуду — он слышал, как стучит о край ведра алюминиевая кружка.

— Мать! — крикнул он. — Долго ты там?

— Иду, Гришенька, иду.

— Да не иду, а поди сюда. Поговорить надо.

Она вошла, вытирая руки о передник. Встала у двери — не сядила, потому что знала: он не предлагал ей сесть.

— Что ты хотел?

— Помнишь Ефима Борисовича? — спросил он, глядя не на неё, а на чёрную щель над фанерой.

Мать замерла. Он видел боковым зрением, как напряглось её тело под ситцевым платьем.

— Зачем ты про него вспомнил?

— А просто. Думаю: что с ним стало? Уехал, наверное? Или здесь помер?

— Я не знаю, — сказала она быстро. — Какое это теперь имеет значение?

— Значение? — он наконец повернул голову к ней. — Значение имеет, мама. Потому что из-за тебя я всю жизнь просидел в этом кресле. Из-за тебя я не стал музыкантом. Из-за тебя я здесь, в этой дыре, и жру перловку, и сру в эмалированное судно, которое ты выносишь. Вот какое это имеет значение.

Она молчала. Лицо её стало ещё более серым, чем обычно.

— Ты погубила меня, — сказал он тихо, почти спокойно. — Своей любовью. Своей заботой. Своей как там это называется гиперопекой. Ты не дала мне жить. Ты спрятала меня от мира, потому что боялась, что мир меня заберёт. И мир меня не забрал, да. Зато теперь я здесь, с тобой. Счастлива?

— Гриша, — прошептала она. — Ты не понимаешь. Я же хотела как лучше. Я всегда хотела как лучше.

— «Как лучше» — это самая страшная фраза, которую

ты могла придумать, — он отвернулся. — Ладно. Иди. Воды принеси.

Она вышла, и он слышал, как она всхлипывает в коридоре — тихо, чтобы он не услышал. Но он слышал. И от этих всхлипов ему становилось одновременно и легче, и тяжелее. Легче — потому что он наказал её. Тяжелее — потому что это ничего не меняло.

К вечеру — хотя какой там вечер, когда за окном всегда ночь, — Валентина растопила печку посильнее. Дрова они сэкономили, но сегодня был особый случай: термометр, прибитый к наружной раме, показывал минус сорок семь, и холод подступал даже сквозь одеяла, которыми были завешаны стены. Григорий сидел у самой печки, протянув к ней руки, и смотрел на огонь. Коляска его стояла так близко, что одеяло, свисавшее с колен, почти касалось чугунной дверцы.

— Отодвинься, Гришенька, — сказала мать. — Загоришься ведь.

— Не твоё дело, — ответил он, но всё-таки чуть откатился назад.

Она сидела на своём табурете и чинила его старый свитер. Иголочка в её пальцах дрожала, но она продолжала шить — методично, упрямо, как делала всё в этой жизни. Стежок за стежком. Петля за петлёй.

— Зачем ты шьёшь? — спросил он вдруг. — Кому это нужно? Мы здесь подохнем, и никто даже не узнает. Всё это барахло останется здесь гнить.

— Пока мы живы, нам нужно одеваться, — ответила она спокойно. — Зачем же ходить в дырявом?

— «Пока мы живы», — передразнил он. — Ты думаешь, это жизнь? Это — ожидание смерти. Мы просто ждём, кто первый сдохнет.

Она опустила шитьё на колени и посмотрела на него.

— Я не жду смерти. Я за тобой ухаживаю.

— За мной не надо ухаживать. Я не просил тебя.

— Ты ведь не можешь сам.

— А кто виноват, что я не могу сам?! — он почти крикнул, и голос его сорвался на хрип. — Кто?! Ты меня таким сделала! Ты, со своей любовью, со своей заботой, со своим «как лучше»!

— Я не делала тебя таким. Ты заболел. Врачи сказали — осложнение после инфекции. Я тут ни при чём.

— Врёшь! Врёшь, карга старая! Ты прекрасно знаешь, что я слёг не из-за инфекции! Я слёг, потому что ты запретила мне ходить к Ефиму Борисовичу! Потому что ты лишила меня единственного, что у меня было! Я не мог больше играть — и я перестал ходить! Понимаешь?! Мне незачем было вставать!

Он замолчал, тяжело дыша. В печке треснуло полено, и сноп искр взметнулся к трубе. Мать сидела неподвижно, и только пальцы её теребили край шитья.

— Это неправда, — сказала она наконец. — Ты сам всё придумал. Чтобы было кого винить.

— Я?! Придумал?!

— Да. Тебе так легче. Легче винить меня, чем признать, что жизнь просто так сложилась. Что никто не виноват.

— Никто не виноват? Никто не виноват?! — он рассмеялся, и смех этот был страшен. — А кто сказал мне: «Ты туда больше не пойдёшь»? Кто написал жалобу на Ефима Борисовича? Кто лежал в кровати и умирал каждый раз, когда я пытался что-то сделать по-своему?!

— Я не писала жалобу, — тихо сказала она.

— Что?

— Я не писала жалобу. Я только сказала тебе, что напишу. Чтобы ты испугался и не пошёл.

Григорий замер. Эта деталь — она была новой. Сорок лет он жил с убеждением, что мать уничтожила карьеру Ефима Борисовича, что старика выгнали из посёлка по её доносу. И теперь она говорила, что доноса не было? Что она просто пригрозила, чтобы держать его в страхе?

— Ты хочешь сказать, что я мог вернуться? — его голос стал глухим и низким. — Что я мог просто взять и пойти, и ничего бы не случилось?

Мать молчала.

— Отвечай!

— Я не знаю, — прошептала она. — Я боялась за тебя. Я думала, что этот человек плохо на тебя влияет. Ты был такой впечатлительный. И потом — эта девочка, Карина... Я видела, как она на тебя смотрит. Я испугалась.

— Испугалась чего?

— Что ты уйдёшь. Что ты вырастешь, и я останусь одна.

Что тебе стану не нужна.

Он смотрел на неё, и впервые за много лет в его взгляде не было ненависти. Там было что-то другое — может быть, жалость, смешанная с отвращением. Или понимание.

— Ты украла мою жизнь, — сказал он наконец. — Не из злобы. Просто потому, что не могла вынести одиночества. И теперь мы здесь. Вдвоём. В Верхнем Ньюде. В полярной ночи. И уйти некуда ни тебе, ни мне.

Мать заплакала. Она плакала беззвучно, только плечи тряслись под пуховым платком, и иголка выпала из пальцев на пол. Григорий не стал её утешать. Он отвернулся к печке и смотрел на огонь, пока она плакала.

Позже, когда она успокоилась и ушла в свой угол, он снова услышал музыку. На этот раз — первую часть «Лунной сонаты». Мерные арпеджио, похожие на шаги по пустому коридору. Он закрыл глаза и представил клавиши. Чёрные и белые. Узкие, чуть стёртые посередине — именно такие были на старом «Красном Октябре» в клубе. Он помнил каждую царапину на этом пианино, каждую ноту, которая звучала чуть ниже, чем нужно, потому что инструмент был расстроен. Но для него это было неважно. Он слышал чистый звук. Он слышал музыку.

И сейчас, в темноте полярной ночи, эта музыка была единственным, что отделяло его от безумия.

День закончился. Ещё один день в Верхнем Ньюде, где время не имело значения, потому что солнце не вставало, и часы стояли, и календарь давно никто не переворачивал. Григорий перебрался в кровать. Валентина помогла ему — молча, без обычного пыхтения, просто сделала своё дело и отошла. Судно стояло у кровати, наготове. Она задула лампу, и комната погрузилась в темноту, разрезаемую только слабым красным светом из щелей печки.

— Спокойной ночи, Гриша, — сказала она из своего угла.

Он не ответил.

Но когда она уже засыпала, он сказал в темноту — не ей, скорее себе:

— Я мог бы играть. Я мог бы.

И ветер за окном ответил ему долгим, заунывным воем, который звучал почти как музыка.

Глава 2. День рождения

На тринадцатый день после того, как остановились часы, Валентина Уколова поняла, что умирает. Не сейчас, не сию минуту, но скоро — может быть, через месяц, может быть, через неделю, а может, и раньше. Она чувствовала это по тому, как сердце вдруг начинало биться неровно, с перебоями, а потом затихало, будто прислушиваясь к чему-то внутри. По тому, как темнело в глазах, когда она наклонялась за ведром. По тому, как пальцы отказывались держать тонкую иголку.

Но Григорию она ничего не говорила. Во-первых, он бы не поверил — сказал бы, что она опять придумывает себе болезни, как делала всю жизнь. Во-вторых, если бы даже поверил, это ничего бы не изменило. Он не мог ей ничем помочь. Она не могла помочь сама себе. Всё шло своим чередом, и смерть была лишь ещё одним событием в череде дней, неотличимых от холодной полярной ночи.

Она сидела на кухне — так они называли угол за ширмой, где стояла печка-буржуйка и стол с эмалированным ведром для воды, — и перебирала старые вещи. Это было её обычное занятие в минуты, когда Григорий молчал и не требовал внимания. Она перебирала вещи, как перебирают воспоминания: каждое полотенце, каждая пуговица, каждая треснувшая чашка что-то для неё значили. Вот эта чашка — из неё

пил любимый муж, пока не ушёл. Вот это полотенце — им она вытирала Гришу, когда он был маленький и ещё ходил своими ногами. Вот этот свитер — она связала его, когда сыну было пятнадцать, и он носил его на занятия к Ефиму Борисовичу.

При мысли о Ефиме Борисовиче руки её остановились. Она сидела, глядя на свитер, и перед глазами вставало то, что она пыталась забыть сорок лет. Тот день. Тот проклятый день рождения.

В комнате было тихо. Григорий дремал в коляске, откинув голову на спинку. Она слышала его дыхание — неровное, с присвистом. Ему было шестьдесят. Ей было восемьдесят. Обоим оставалось совсем немного.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.